

КИРА МЕДВЕДЬ

Ноябрь 1998

*Раз, два, три, четыре, пять —
вышла Кира погулять...*

«Погулять», смешно.

Детская считалочка — просто чтобы хоть чем-то занять бесполезный мозг во время так называемой прогулки. Обычно я считаю шаги, их бывало сто — иногда полтысячи, а сегодня захотелось игры.

*Раз, два, три — я стою в крови.
Три, четыре, пять —
вот пятно опять...*

Спустя неделю моего пребывания в женской колонии «Касатка» я обнаружила на полу в камере целых три бурых лужи. Кровь невозможно спутать ни с чем, если ее не отмыть сразу — она навсегда въедается во что бы то ни было: руки убийцы, человеческую душу или цементный пол. Судя по оттенку — лужи поя-

вились на полу в разное время и, ясное дело, вытекли из незнакомых друг другу людей. Кем были эти несчастные? А сколько приговоренных к разным срокам душ покинули этот мир, не оставив после себя даже кровавого отпечатка: повесившись или отравившись? Совершив какое преступление, они не смогли справиться с чувством вины и выбрали смерть? А не все ли равно? Не о том думаю. Преступление у каждого свое, и все расплачиваются за него по-своему — кто-то в этом мире, кто-то уже в ином.

Сегодня у меня маленький юбилей — семьсот тридцать дней молчания. С моим речевым аппаратом все в полном порядке. У меня не своровала язык кошка, мне просто больше нечего сказать этому миру. Я по своей воле отказалась произносить слова, мне так спокойнее.

Следователь, который вел мое дело, расценил молчание как необоснованное высокомерие и самодовольство. Доктора, обследовавшие меня, разглядели в моем нежелании говорить сразу несколько разновидностей афазии. И любезно пояснили, что это за зверь такой: афазия — локальное отсутствие или нарушение уже сформировавшейся речи. Интересы развенчивать безумные и глупые домыслы всех этих людей у меня не было и нет. Я просто продолжаю молчать.

Четыре грязно-серые стены одиночки и небо сквозь решетку — реальность, которая меня вполне устраивает.

У меня ужасно болят все кости — лопатки, копчик, локти. Синяки по всему телу выразительно кричат о том, что за месяцы тюремного заключения внушительная жировая прослойка ничуть не спасала от жесткости тюремной койки. Кровать — деревянный настил, накрытый наполовину сгнившим матрасом, стол на одной ножке, намертво приколоченный к стене, табурет, раковина, унитаз и зарешеченное окно размером с подушку — скромный интерьер моих покоев. У кого-то небо в алмазах, а у меня — в клетку. Но я не жалуюсь. Меня все устраивает.

Одиночка — это мой выбор, а не, как полагают многие, Уголовного кодекса. Я намеренно нарушаю тюремный устав, только бы оказаться в одиночке. Я не нуждаюсь в социуме и в общении. Мне не интересны судьбы других несчастных, которые то и дело норовят «поговорить по душам». Меня раздражают рассуждения о светлом будущем вне этих стен, раскаяние и обеты избрать верный жизненный путь. Мне хочется одного — тишины и покоя, и я их получаю.

«Жизнь — боль» — читаю на одной из стен, практически у изголовья койки, слова, напи-

санные, скорее всего, углем. «Отсиджу за чужие грехи и начну свою жизнь с чистого». Помада, что ли? «Провести остаток дней здесь не страшно. Страшно было жить в постоянной лжи, предательстве и изменах» — маркер, может быть, фломастер зеленого цвета, но такой огненный по смыслу текст. «Здесь была Я — Нонна Ветер. 1980–1985»; «Лучше смерти может быть только смерть»; «Отче наш, ижи еси на небеси. Да святится...»; «Черная вдова — да будет так!»; «1968–1972»; «1993 — прекрасно, что смертной казни в нашей стране больше нет, — отсиджу и продолжу начатое. Л.В.»; «Жизнь, прощай. Если Ад в самом деле такой, каким его описывают, — я лучше перееду туда»; «Т.К.»; «Конец»; «Сиджу за решеткой в темнице сырой... Но я не орлица, а он был КОЗЕЛ». Красные, синие, черные, зеленые надписи поверх затертой до дыр побелки исполняют роль обоев в моем нынешнем жилище, разных цветов и разного содержания, но общее у них все же нашлось — боль. Никто в подобные места не попадает просто так, каждого в клетку загоняет одно чувство — боль обиды, боль потери, боль предательства, боль измены. Кто-то из попавших в эту конуру оставил кровавый след, кто-то всего лишь каплю чернил, но я уверена, четыре стены отпечатались в душе каждого кровавым тавром.

*Раз, два, три, — запись тридцать три.
Три, четыре, пять, —
есть что почитать.
Шесть, семь, восемь, —
каждый что-то просит.
Девять, десять, ноль, —
в каждом слове боль.*

— Немая, на выход! — гремит, будто колокол в пустом храме, и эхом отдается внутри меня.

Абсолютно не понимаю, куда и зачем «выходить», но я «немая», поэтому без лишних вопросов шагаю к выходу.

— Руки давай. Свиданка у тебя с начальником. В твоём деле вроде как появились новые факты. — Двухметровая «сторожевая» тетка надевает мне браслеты, хватая за локоть и тащит так, будто я не человек, а репа, которую непременно нужно выдернуть из земли. — Уж не знаю — чего да как, но сдаётся мне, что ждёт тебя хорошая новость. Дуракам везет.

В колонии давно ходят слухи, что я с головой не дружу. Прознали здешние «владычицы» каким-то образом о моем проживании в психушке, и плюс к тому, что «немая», я ещё и «идiotка» у них. Хотелось бы, чтоб так оно и было, может, с диагнозом дебилизм или идиотизм, если таковые существуют, мне было бы легче принять реальность.

— По мне, так зря в нашей стране нет смертной казни, такие нелюди, как ты, не имеют права топтать землю. Тебя выродили, вырастили, воспитали, а ты... — Каждое слово звенит холодной ненавистью. — Эх, была б моя воля!..

Я как-то слышала, как эта самая «сторожевая» гоняла по тюремным коридорам крысу (их здесь хватает), только от одних ее воплей — «Стой, тварь! Все равно ведь поймаю! Лучше я тебе голову размозжу одним махом, чем ты долго и болезненно будешь подыхать от яда. Искать спасения бесполезно, мерзкое животное! Как же я вас ненавижу! Какие же вы мерзкие!» — можно было отдать Богу душу. В этом вся человеческая сущность — в ненависти ко всему и всем. Но по поводу смертной казни я с ней согласна — зря ей нет места в нашем государстве. Как бы это было здорово — ток по венам или инъекция, да даже расстрел, и тебе больше никогда не придется думать и анализировать, чувствовать и сходить с ума, все в один миг прекратилось бы...

— Пришли. — Серые лабиринты коридоров быстро приводят к двери, обшитой черной кожей, и надзирательница, на миг ослабив хватку, стучит. — Заключенная Медведь Кира доставлена. Ей можно войти?

— Да.

Впервые за два года я оказываюсь в кабинете начальника колонии, если быть точной — начальницы. Маленькая хрупкая женщина лет пятидесяти, с небрежной гулькой цвета сгнившей соломы на голове и огромными очками на носу нелепо смотрится в большом просторном кабинете. Общее у помещения и его хозяйки одно — серые, почти черные «одежды». На женщине цвета темной ночи костюм. Шторы такого же цвета и фактуры занавешивают окно. Мебель: железный шкаф, пара стеллажей, забитых папками, книгами, журналами, стол, стулья, в углу, у окна, кованая подставка с несколькими зелеными вазами — и все это в черно-сине-зеленых тонах. Мрачно и неуютно. Но, видимо, начальница чувствует себя в подобной обстановке вполне комфортно. Я же, в своем насыщенном синем комбинезоне, являюсь самым ярким пятном в царстве темных тонов. Да и рыжий ежик на голове — просто пылает.

— Присаживайтесь. — Голос звучит мягко, вполне соответствует образу женщины, но точно не ее должности. — Вокруг да около ходить не стану. Некогда мне вести долгие беседы.

Чего-чего, а сидеть мне точно не хотелось, но я послушно присаживаюсь на один из трех стульев. Объяснить свое неповиновение все равно не смогу, лучше уж сесть.

— Только что у меня был господин Беликов, напомню — это следователь, который вел ваше дело, вдруг вы запамятовали. Так вот. Уже сегодня вы свободный человек, и, надеюсь, завтра, не только на бумагах. В крайнем случае два-три дня — и вас выпустят. Но не думаю, что это затянется. Государству ни к чему кормить лишний рот.

Абсолютно ничего не понимаю, но и раскрывать рот не хочется, я привыкла к безмолвию.

— Думаю, вам интересно узнать, с чем связан этот радикальный поворот в вашем деле. Вот, — худосочные руки протягивают мне какой-то лист бумаги, — прочтите. Откровенно говоря, я отказываюсь понимать — почему вы все это время молчали. Осознанно провести два года жизни в клетке за чужие грехи... Не мне судить о вашем психическом и душевном состоянии, но в подобной ситуации не могу не согласиться с мнением моих подчиненных, которые предполагают у вас некое психическое расстройство. Вот только они считают вас безумной оттого, что вы учинили безжалостную расправу над собственными родителями; я же думаю, ваше безумство заключено в том, что вы даже не попытались объяснить и очистить свою репутацию. До сегодняшнего дня я вообще не размышляла на ваш счет — убийца, с какой стороны на него ни взгляни, остается убийцей. А сейчас...

Женщина замолкает. А мои глаза медленно скользят по немного пожелтевшему листу бумаги. Аккуратный отцовский почерк узнаю с первых слов:

«Дочка, если сможешь когда-нибудь простить нас с матерью — прости. Мы подарили тебе жизнь, и мы же почти уничтожили ее. Продолжать тащить и дальше на себе этот груз нет ни сил, ни желания.

Людское мнение было когда-то важнее здравого смысла, важнее твоего здоровья, твоего будущего... Да что там, важнее самой жизни. Важнее самого главного — счастья стать дедом и бабой. Когда в наших головах случилась подмена истинных ценностей — одному небу известно, и да простит нас Господь за это. Хотя нет, я даже не пытаюсь просить у него помилования.

Надеюсь, у меня получится все исправить, и ты еще успеешь пожить в радость. А для нас с матерью, уверен, припасено теплое местечко в Аду уже давно. Это нас нужно было закопать в сырую землю еще при рождении, а не ни в чем не повинное дитя, твое дитя.

Дочка, строй свою жизнь так, как считаешь нужным, и никогда, слышишь — никогда не обращай внимания на чужие пересуды, мнения, оценки, ожидания. Жизнь твоя! Жизнь одна! Плюй на чужие мнения — ведь тот, кто

судит, возможно, уже завтра отправится на тот свет. Тебе дальше жить с тем камнем, который он навесил на твою шею своим косым взглядом; с тем поступком, на который он тебя побудил. Люди поговорят да забудут, а ты — никогда.

Одному Господу известно, как сожалею я о том, что осознание этого пришло ко мне слишком поздно. Хотя я очень надеюсь, что для тебя еще не слишком.

Дочка, мы с матерью благословляем тебя на счастливую жизнь, а сами будем покоиться с миром и вымаливать у Господа счастливой для тебя доли. А нам уж ничего не нужно. Мать, как всегда, не согласна с моим решением, но впервые в жизни я поступлю против ее воли (что нужно было сделать много лет назад). Мы достаточно долго безнаказанно топтали эту землю, думаю, пришло время заплатить за свои грехи и вымолить тебе Рай на Земле.

Для следствия:

В моей смерти и смерти моей супруги прошу никого не винить — я все решил сам и за все свои злодеяния сам понесу наказание, пусть даже в другой жизни.

Георгий Медведь».

Странно это читать. Отец никогда не верил в Бога, да и в черта тоже.

Руки дрожат, а сердце не знает, как ему быть — то ли вырваться наружу, то ли замереть навсегда. Доставило ли мне радость это послание из загробного мира? Нет. Сумею ли я простить? Нет. Счастлива ли я оттого, что мне дарована свобода? Нет.

Следователь постоянно задавал мне один и тот же вопрос — как можно быть настолько бессердечным ребенком, чтоб из охотничьего ружья двумя точными выстрелами снести родительские головы? А я вот уже второй год сожалею, что это была не я. Страсти немного улеглись, но даже сейчас моя рука не дрогнула бы. Раны до сих пор кровоточат. Даже сейчас я бы спустила курок, глядя прямо в глаза мамочки и папочки, как когда-то они смотрели в мои глаза и делали свое грязное дело.

— Я уже занимаюсь подготовкой всех необходимых документов, а вы можете смело упаковывать вещи и благодарить своего дядю до конца дней своих.

В голове туман, а глаза застилает какая-то непонятная пелена, но точно не слезы. В мыслях пульсирует вопрос. И, кажется, мысли мои настолько громкие, что начальница слышит и отвечает: